Кумова постеля

Давно, когда ещё моей прабабушки на свете не было, в местах неведомых где-то, посреди густого леса стояла избушка дровосека. Дровосек жил с женою, а детей у них не было, да небольно хотелось им их иметь-то — одним жить спокойнее, но случилось не так, как им хотелось и думалось. Жена сделалась беременною, а муж, бродя по лесу, наткнулся врасплох на огромного медведя, а ведь эти чёртовы дети медведи недолго рассуждают. Косолапый облапил дровосека, подмял его под себя и пикнуть ему не дал, сразу ему жизнь прикончил. Жена не знает, что над её муженьком стряслась такая бедовая оказия, сидит да поджидает муженька, а сердечко так в груди и занывает, так и поговаривает, так и шепчет ей на ухо — плачь скорее, плачь бесталанная, горемычная, мне легче будет. Долго ждала жена мужа, думала-раздумывала о нём разные разности, что он не в город ли ушёл да там напился у свата Фаддея, а за ним такой грешок водился частенько, он бывал пьянёнек и напорядках. Так-то вот думая, жена прождала мужа целую ночь и утро прошло, и полдень настал, а его нету. Соскучась сидеть в избе, жена вышла в лес, прошла немного по лесу да как вдруг ахнет, крикнет от страху, видит человека убитого. Валяется он под деревом и лица то на нём не видно, так сердечный изуродован, только по одёже догадалась она, что это был её муж. Повыла, повыла она над убитым да не вечно же выть. Так и она сделала, выть перестала, вырыла для него могилу да и похоронила, но и после похорон она всё-таки ещё не совсем оставила плакать, проплакала ещё несколько времени, а время всё подвигалось вперёд, наконец до того подвинулось, что вдове мочушки не стало, пришла пора родить, но и тут беда, и тут напасть — не может опростаться, да и только. Три дня криком прокричала, а кто услышит её крик в таком дремучем лесу, в нём людей-то почитай никогда не бывает и не проходят по лесу, а звери хоть и шляются, да им-то какое дело до чужого крику, они и сами ревут не хуже, если не лучше, не громчее. Так она, бедная, маялась, маялась, а всё лучше нет, вот и четвёртый день уж на исходе, бабки нет, а к ней не бежать же стать самой, когда она с постели встать не может. Болезнь её притиснула шибко, да потом как вдруг прихватит ещё сильнее, ещё шибче, так у неё и глаза под лоб подкатились. Невзвидела она земли и неба, оно ей в овчинку показалось, не вытерпела она и вскричала:

— Хоть бы чёрт пришёл помочь мне!

Известно дело, она вскричала это сдуру, да и то сказать, человек до того грешен, что он всегда луканьку-то у себя на языке держит. А он, окаянный, как его кликнут, куда услужлив, тотчас явится. Вот он и тут появился, проклятый, быстрее мысли да как ещё принарядился, окаюга скверная, что не только узнать, так и подумать невозможно, что это сила окаянная так разрядился. Пришёл он к вдове в образе женщины, бабки, да не простой, а стомяной, в чепчике, с разными разностями, разряжен так, что куда тебе, и как только вступил на порог, так больной и легче стало, она тут скоро и родила. Тогда окаянный подошёл к ней и говорит:

— Послушай, хоть услуга моя малая, но я всё-таки даром никому ничего не делаю и потому, что мала моя услуга, то оставляю у тебя твоего ребёнка до двадцатилетнего возраста. Потом я приду за ним, потому что он мой.

Так вот эти слова проговорил дух лукавый да и пропал, а куда уж он пропал в минуточку, этого не известно, может, и в печь вошёл дымом да в трубу и улизнул, ведь для беса это пустячки, он и не такие ещё фокусничества выкидывает.

Вот живёт вдова, поживает без мужа не горько, не сладко, а так себе, серёдка на половине, а время катится, быстро летят дни, а вслед за днями, недели, месяцы и годы бегут скорёхонько. Скорёхонько прошло так лет и много, вырос ребёночек вдовы; да я и запамятовал, ребёночек-то какой был и не сказал, ведь может быть и девочкой и мальчиком. Так вот я теперь и говорю вам, он был мальчишечка и от времени сделался порядочным мальчугою; лет ему набежало с семнадцать, а какой был он прилежный учиться разным разностям, всему его мать учила — и грамоте, потому что немного сама мараковала, и Богу молиться научила, и всяким домашним приличествам, и покорности к родительнице, и работе в лесу, чем можно бы было и себя и мать кормить. А он всё это понял хорошо, всё исполнял точно, то есть такого сына почтительного да хорошего пожелал бы всякой крещёный иметь у себя и благодарил бы Бога, что он дал ему такую милость. Вдова радовалась и благодарила Бога, глядит она на своего сына милого, любуется, радуется не нарадуется, а как придёт ей на память, что чрез три годочка должна она будет с ним проститься, отпустить его, отпустить бы — это ничего, да ведь отпустить-то куды, в когти лукавого. Как это ей придёт на ум, так она и всплеснёт руками и зальётся, завопит, заголосит, начнёт причитать; а слёзы, как ручей из глаз, так и польются. Частенько это случалось, частенько замечал и сын, что мать невесть с чего

плачет, невесть с чего вдруг заголосит, завопит, упадёт на стол да так и лежит как мёртвая, а иную пору и на пол упадёт, голову ушибёт и лежит как мёртвая, сыну уж водой раз десять приходилось её отпаивать.

В один вечер сын сидел с матерью за ужином, похлебал он немножко щец да, верно, не хотел более, что ложку на стол положил, не ест, подпёр голову руками да и поглядывает на мать.

— Что же, дитятко моё милое, не похлебаешь ещё щей-то?

— Да не хочется, матушка!

— Похлебай, родимый мой голубочек, — сказала мать; тут ей и пала на память та беда, что она недолго будет смотреть на своего сыночка, любоваться им — уйдёт он и её уже горемычную и матушкой называть будет некому, подумала она это, да и заплакала горько-горько.

— Что ты матушка всё плачешь, какая у тебя беда есть и зачем ты мне её сказать не хочешь?

— Хочется, моё дитятко милое, хочется сказать тебе, да язык не ворочается, к горлу прилипает, не выговоришь, страшно, — и она ещё больше залилась слезами.

— Что, родимушка, страшно?… говори не бойсь.

Долго плакала да вопила мать, да вздыхала, наконец и раскрыла сыну такую беду свою, страшное своё горе — как она беса призвала, что он сказал, и потом, всхлипывая, проговорила:

— Ненаглядный ты мой, не будет скоро у меня тебя, ясного сокола, не увижу я тебя больше, — и опять завыла.

Сын задумался, опустил голову, потом поднял её, вытер рукавом слёзы и сказал:

— Матушка, перестань плакать, слушай лучше меня. Пойду я от тебя сейчас куда очи глядят, чтобы тебе не терзаться, как увидишь, когда бес придёт за мною и возьмёт меня. Лучше, меня у тебя на глазах не будет. Думай — я помер или где в монастыре нахожусь, и пойду в монастырь, а туда сила лукавая пройти не посмеет, благослови меня, родимая, в путь-дорогу.

Мать послушалась сына и, видя, что он говорит дело, что в монастырь сила лукавая пройти не посмеет, горько заплакала, благословила сына, дала ему

на дорогу кой-чего поесть и вышла провожать его. Тут её сердечушко не вытерпело, она схватила сына, прижала к себе и заплакала, разлилась как река, насилу сын уж мог оторваться от неё и пошёл по тропинке, а мать завопила и упала у избы на землю. Сын не оглядывался.

Эх жаль, что я не знаю, как звали его, а то лучше бы было рассказывать, ну да уж делать нечего.

Вот идёт он тропинкою лесною, да и думает о своей горькой участи. Вдруг поднялся дождь (а сперва хороша была погода), да какой дождь — как из ведра полил, приютиться негде нашему пешеходу. Да он и не очень думает о дожде, идёт да идёт, только вдруг и видит огонёк, он к огоньку и направился. А дождь порубил ещё сильнее, загремел гром, молния залетала, так вот и шныряет, как будто сжечь хочет. Вот идёт наш путник к огоньку, не за тем, что грома да молоньи испугался, а так лучше, известно дело, ночевать в тёплой избе, чем в дремучем лесу, да ещё когда дождь как из ведра льёт. Наконец подходит он к огоньку, огонёк светил из окна, а окно было в большом деревянном доме, да не одно, а много окон, только огонёк-то светил в одном окне. Дом этот стоял посредине дремучего леса, в самом страшном месте, куда по своей волюшке ни один человек не пойдёт, а забредёт кто-нибудь нечаянно, как и наш путник. Вот подошёл он к воротам, попробовал — заперты, стукнулся в калитку — тоже заперта, да, должно быть, и крепко, потому что он стукнул кулаком не тихо. Подождал он немного, никого господь не подаёт. Вот он ещё постучал, тоже никто не идёт, только страшно залаяла собака, а потом и завыла.

— На свою бы, а не на мою голову, выла бы ты, окаянная, — проговорил наш прохожий.

Только вдруг слышит он, что кто-то идёт по двору и, кажись, что не мужик, а баба, потому что кричит, унимает собаку, голос не мужичий, а бабий, наконец послышалось за калиткою нашему прохожему:

— Кто тут?

— Кормилица, — проговорил наш прохожий, укрой на тёмную ночь меня, несчастного, я заблудился, впусти ради бога.

— Эх, родной, жаль мне тебя, да и впустить-то боюсь, право, не знаю, что мне с тобою делать.

— Впусти, будь мать родная, заставь вечно бога за тебя молить.

— Жаль мне тебя, неча делать, ступай.

Вот, когда калитка отперлась, наш прохожий вошёл на двор и поклонился женщине. Она стояла у калитки, но заперла калитку и пошла в сени, сказав ему:

— Ступай, родной, за мною.

Когда наш путник вошёл в покой, помолился иконам и сел на лавку, то женщина стала его расспрашивать, кто он такой, откуда и куда путь держит? Не стал он скрываться и рассказал женщине, что ему судьбой назначено и куда он идёт. Та его выслушала да и головой покачала:

— Ох ты, родимой мой, горемычный, бесталанный дитятко, худому с тобой случится должно и никто тебе помочь не возьмётся кроме моего мужа. Он страшный разбойник и по грехам своим сделался другом и приятелем самому старшему бесу, таким приятелем, что тот его своим кумом назвал. Вот если бы мужа попросить, да взялся бы он, так он что-нибудь бы да мог сделать, а как попросишь его?.. он эти дни всё такой сердитый и сегодня вот, поехал на разбой и не простился. Ну да ладно, на вот, поешь ты да запрячься в ту каморку, и когда придёт муж, тогда увидим как делаться нужно будет.

Тут она дала поесть горемычному, а потом и велела ему в каморку запрятаться. Только запрятался он, а в ворота кто-то и застучал. Баба тотчас побежала отворять, отворила калитку, на двор и вошёл её муж, такой сердитый и слова с женой не молвил. Вошёл в избу, не сняв шапки, сел за стол и закричал во всю глотку:

— Жена, есть давай!

Та тотчас накрыла стол, всё поставила и отошла к печке. Вот муж выпил вина целый ковшик, а жена тотчас ему и опять налила, он и другой выпил. Разобрало его от двух ковшей, развеселился он да и спрашивает жену:

— Что ты такая сегодня добрая, сама меня вином потчуешь?.. а другой раз ругаешься, зачем я пью.

— Да так, потчую, пей на здоровье.

— Нет, брат, меня ты не обманешь, недаром ты потчуешь, что-нибудь у меня просить хочешь. Пришёл я домой сегодня сердит, потому что удачи нет, а теперь ты меня развеселила, значит, проси чего хочешь, всё тебе сделаю.

— Да сделаешь ли, полно?

— Говорят, что сделаю.

— Хорошо, кабы сделал доброе дело, ты ведь больно грешен, а коли сделаешь это добро, тогда тебе Бог грехов простит.

— А какое это дело? говори скорей, я уж сделаю.

Тут баба и рассказала про горемычного прохожего да и сказала ещё:

— Сделай, тебе Бог грехов простит.

— Сделаю, жена, сделаю, где он, зови горемычного.

Баба позвала прохожего, тот вышел из каморки и поклонился хозяину.

— Ну, молодец, — сказал ему разбойник, — я пойду с тобой, только куда мы пойдём и коли что увидим страшное, жуткое, не бойся ничего.

Тут он оделся и вышел из избы и горемычный пошёл за ним. Вот приходят они к морю, к широкому морю, море так и бушует. Тут у моря разбойник завязал горемычному глаза, взял его за руку и повёл, а куда повёл — неизвестно. Только тогда догадался наш горемычный, что они в море опустились, когда вода у него над головой зашумела. Вот они опустились на дно морское и пошли по дну. Шли, шли, наконец стали опускаться в яму, вот опустились они на дно ямы и стали. Тогда горемычному развязал глаза разбойник и шепнул ему на ухо:

— Не бойся.

Тут-то горемычный насмотрелся дорогою на разные страсти и ужасы. Встречались им на дороге черти разные, разные и всё страшные, и об одном роге, и о двух, и о трёх, и больше. Глаза у всех их как уголья красные, кости по аршину, морды свинячьи и собачьи, и птичьи головы, и всякие, только нету ослиных голов. Прошли они всю эту дрянь и подошли к воротам. Тут ещё хуже, ещё страшнее и ужаснее, так что горемычного по коже как морозом обдало. Видит он — ворота огнём так и пышут и множество чертенят всё роста маленького, как на отбор, — пляшут у ворот, беснуются на разные манеры. Змеи ползают по земле, выпускают жала, шипят, а чертенята наберут их в руку с десяток да и кидают ими в разбойника и горемычного. Только змеи, по счастью, всё мимо пролетают, не попадают в разбойника и горемычного. Долго смотрел разбойник на чертовские

проказы, наконец осердился, схватил пару чертенят и давай их пинками колотить. Поколотил, а потом и шмякнул о землю, а сам и вошёл в ворота. На дворе была земля из человеческих костей, дом был сделан тоже из костей, а крыльцо — из чёртовых рогов. Вот вошли они на крыльцо, тут лестница, — только не вверх, а вниз, в яму. В яме сидит чёрт страшнеющий-престрашнеющий, а вокруг его чертей тьма тьмущая. Вот к этому чёрту подошёл разбойник, взял его за руку, а чёрт разбойника приятелем называет и бочку с вином ему пододвинул, чтобы ему сесть. Вот разбойник уселся и говорит чёрту про нашего горемыку, так и так; а потом и говорит ещё:

— Удружи мне по-приятельски, отдай его запись.

— Изволь, — говорит чёрт, — пожалуй, удружу, — потом и вскрикнул чертям:

— Эй, вы! у кого из вас такая-то запись?

Все черти молчат, потом один чертёнок и говорит:

— Эта запись у хромоногого Сальцы.

— Ну, позвать хромоногого Сальцу.

Тотчас чертёнок один и ушёл и привёл потом за собой другого, этот дьявол был рыжий, одноглазый, одноногий и один рог у него больше бычачьего. Вот ему и говорит чёрт, приятель разбойника:

— Эй ты, хромой Салец, отдай запись такую-то и такую!

— Нет, не отдам ни за что, недаром же я доставал её.

— Отдай, я тебе велю.

— Не отдам.

— А! так ты ещё огрызаться стал?.. принять Сальцу хромого в калёные прутья!

Тотчас целая куча чертей схватили хромоногого, повалили его на землю и давай драть калёными прутьями. Хромой Сальца орал, орал, просил пощады, а записи всё не отдаёт. Наконец его драть бросили.

— Отдашь ли теперь запись, хромой Сальца? — спросил чёрт.

— Нет, не отдам, ни за что не отдам.

— Не отдашь, вот я посмотрю; эй, возьмите его в крючки, — черти опять налетели на хромого Сальцу, повесили его за хвост к потолку, принесли калёных крючьев и давай ими его тянуть всякий в свою сторону, хромой давай опять просить пощады.

— Отдашь запись? — спросил чёрт.

— Нет, не отдам.

— Не отдашь?.. так я с тобою разделаюсь; снимите его и положите тотчас на кумову постель.

Хромой Сальца как услыхал это слово, завыл как собака, затрясся и повалился чёрту в ноги, и ещё больше завыл.

— Всё отдам, только не клади на постель, вот и запись, — тут хромой Сальца и отдал чёрту записку, а тот — разбойнику.

— На вот, приятель, возьми.

Разбойник взял запись, попрощался с чёртом и пошёл с горемыкою. В этот раз они прошли дорогу без всяких казусов, прошли опять на дно моря. Тут опять горемыке разбойник завязал глаза, а когда прошли по дну морскому и вышли на берег, тогда разбойник, отдавая запись горемычному, спросил его:

— Куда ты пойдёшь теперь?

— Пойду в монастырь в монахи, а ты куда пойдёшь теперь?

— Пойду к жене и буду тем же заниматься, чем занимался.

— Худо сделаешь, ты слыхал ли, что сказал и куда велел сатана положить хромого Сальцу?

— Нет, не слыхал!

— Он велел положить его на кумову постель, а он тебя своим кумом называет, значит это твоя постель, и очень страшно надо быть, что хромой Сальца затрясся и отдал запись, когда его велели положить на эту постель.

Разбойник задумался, упал со слезами на землю и стал говорить своему путнику:

— Научи меня, что мне делать, чтобы не быть на этой постели?

— Пойдём со мною в монастырь, там молиться станем.

— Нет, не пойду я в монастырь, ступай уж ты, а вон ты видишь, стоит иссохшая яблоня, пойду я к ней и буду плакать и молиться до тех пор, покудова яблоня не расцветёт, а ты ступай в монастырь и помолись обо мне.

Тут они расстались, один пошёл в монастырь, а другой остался у иссохшей яблони.

Прошло много лет, наш горемычный жил в монастыре и через несколько лет сделался игуменом, потому что вёл примерную жизнь.

В одно время ему видится сон, что стоит цветущая яблоня, а под ней лежит тот разбойник и манит его к себе рукой. Проснувшись, игумен взял с собою двух монахов и пошёл к тому месту, где была яблоня, прежде иссохшая. Придя к яблоне, он увидел, что она уже не стоит засохшей, а полна плодами, и на одном сучке сидит райская птичка и поёт райские песни. Под яблоней уже почти мёртвый лежит прежний знакомый игумена, но, увидя его, он приподнял голову и чуть-чуть мог сказать:

— Рад я, что увидал тебя, на душе мне теперь гораздо легче. Поскорей торопись, исповедуй меня, и, если я достоин, причасти, тогда я помру спокойно.

Игумен тотчас всё сделал, что просил его бывший разбойник. Тот тотчас же и умер.

Птичка, которая сидела на сучке, запела ещё лучше и улетела. Тогда игумен с монахами вырыл могилу, похоронил в ней умершего и все отправились в монастырь.

Русские простонародные легенды, 1861.